ИЗВЕСТИЯ — 1989 — 17 сент.

СЛОВО О ШУКШИНЕ

Год Шукшина! Никто об этом официально не заявлял. И все-таки «год Шукшина» прочно утвердился в нашем календаре.

Началось с того, что в свет одновременно вышло несколько книг Василия Макаровича, сборники воспоминаний о нем. На Московском международном кинофестивале прошла ретроспектива фильмов Шукшина. Центральное телевидение несколько месяцев показывало картины замечательного актера и режиссера. В Алтайском государственном университете состоялись Шукшинские чтения. Тысячи и тысячи людей прошли «шукшинским трактом», чтобы в канун 60-летия Василия Макаровича собраться в его родных Сростках...

...Есть у Шукшина небольшая повесть «Из детских лет Ивана Попова». Биографы долго обходили ее своим вниманием — не знали, что в детские годы Шукшин, у которого арестовали отца, был вынужден носить фамилию матери — Попов. Ни в одном произведении не говорил он с такой прямотой о себе — разве что в последней своей горестной «Кляузе». Биографам слишком общими казались, должно быть, страницы жизни Ивана Попова: ну кто из деревенских ребят не блаженствовал с удочкой, не любил страшные сказки, не работал, чтобы помочь семье и почувствовать себя взрослым! Однако же было в Иване Попове нечто такое, что решительно отличало его от всех. «В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверное, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы...»

Так видел Вася Шукшин, может быть, еще и не умея облечь видимое в стройные слова, но чувствуя, что эти слова есть — и надо найти, связать их, чтобы запечатлеть чудо жизни. Этот хрупкий дар предстояло сберечь, пронести через годы, а для того надо было пройти через город. И чего только не измышляли в свое время об отношении Шукшина к городу. А он в своем «Монологе на лестнице» писал так: «Город — это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город — это где огромные дома, а в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: «Все люди — братья». В город надо входить, как верующие входят в храм,— верить, а не просить милостыню».

По собственным его словам, Шукшин в ту пору всерьез «засобирался писать». Но ведь собираться писать — он тогда еще не знал этого — можно всю жизнь. Главное, чтобы не затянулся этот период. У Шукшина он затягивался: слишком уж трудна была жизнь рабочего, приехавшего по оргнабору, — нынче Калуга, завтра Владимир. Город был многолик, временами он пугал и раздражал, но зато позволял наблюдать множество людей, зачастую вот так же пришедших из деревни, находить в них нечто такое, что надо было крепко запомнить и сберечь.

Для многих своих биографов Шукшин и по сей день — этакий «самородок», «стихийный талант». Пришел, мол, на приемные экзамены во ВГИК, не вполне понимая, куда это он попал и что это за профессия такая — кинорежиссер, потешал строгих экзаменаторов, задававших каверзные вопросы. Мало кто знает, что Шукшин сначала подавал документы на сценарный факультет. «Перенести документы» его уговорили работники экзаменационной комиссии. Не было в его поступлении во ВГИК никакой «стихийности» — были предельная собранность и организованность, которые даются самой жизнью. Почти все экзамены, включая общеобразовательные, он сдал на хорошо и отлично — он не мог себе позволить получить тройку по истории или литературе. Он поступил в институт безо всякой протекции, без заступничества — он сам был себе заступником. За ним стояли Сростки.

Как-то беседовали мы с Шукшиным о полюбившемся ему актере: откуда они берутся, таланты: «От щедрот народных,— сказал он.— Живут на земле русские люди и вот избирают одного. Он за всех будет говорить — он памятлив народной памятью, мудр народной мудростью. Что бы он ни делал — он естествен, свободен. Но это не «стихийность» — это большая собранность, организованность, которой он обязан не институту, а жизни».

С самых юных лет Шукшин сознавал, что у него своя стезя. И следовал этой стезе с редким мужеством и упорством. Для него не было вопроса—что снимать: с первых дней у:ебы он знал, что будет делать «авторское кино».

Как труден был этот путь! «Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран...» — писал он. Я помню эту напряженность и собранность, благодаря которым наши беседы становились необыкновенно емкими. Как Шукшин готовился к этим беседам, будто от каждой всерьез зависела его работа! Помню маленькие листочки, на которых он тщательно, очень четким, разборчивым почерком, по нескольку раз переписывая одну и ту же фразу, выводил некоторые «формулы своего неуспеха»:

...«Фильм «Странные люди» не принес мне удовлетворения. Я бы всерьез, не сгоряча назвал его неудачей, если бы это не сделали другие. Разговор со зрителем не состоялся. Фильм плохо смотрели, даже уходили. Так работать нельзя. Это расточительство».

И дальше, все тем же кропотливым почерком, все обстоятельнее и обстоятельнее — так что же такое кино? Слово за слово, он приходит к выводу, что «литература... демократичнее, что ли?.. В кинематографе все сложнее. В поисках кинематографической выразительности, в потоке зрительных ассоциаций можно потерять самого героя, а с ним и понимание, и сочувствие зрителя. А что может быть страшнее зрительского равнодушия, непонимания, а то и недоумения перед произведением, которое ты, автор, считаешь для себя программным?»

И, наконец, с нажимом, большими, большими буквами — как самое важное для себя: «Да будь ты трижды современный и даже забегай с «вопросами» вперед, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале. Добрые, искренние, человечные слова должны тоже греметь. Гремят же на площадях в мире слова недобрые, фальшивые. Пусть и добро вооружается. Келейные разговоры о красоте, истине только обессиливают человечество перед лицом громкогласного, организованного зла. Если же кто сказал слова добрые и правдивые и его не услышали—значит, он не сказал их».

Не сразу Шукшин обрел своего героя, свою тему — и помогли ему в этом, конечно, земляки. Он их не забыл, не предал. Они всегда были с ним, если он и за перо-то взялся для того, чтобы говорить от их имени. Долгие-долгие годы, с тех пор как не стало Чехова и Бунина, с тех пор как замолчал Зощенко, у них не было своего голоса. Рано или поздно они должны были снова обрести его — и вот обрели.

Вспоминаются литературные дискуссии прежних лет по рассказам Шукшина: кто они, его герои. Не укладываются ни в какие привычные мерки! Их называли «чудиками» — по прозвищу одного из таких вот, на первый взгляд, смешных и нелепых, а если отбросить привычные представления, «очень человеческих» людей. Раздавались опасливые голоса: можно ли приписывать «чудикам» типические черты, выводить из них русский национальный характер? Сошлись на том, что лучшее определение дал своим героям сам Шукшин: «странные люди». Боюсь, что многие принимали это определение всерьез — именно что странные. Многие из пишущих, но отнюдь не из читающих! Читатель-то, он сразу понял: никакие они не странные— они свои, родные. Что в них дорого, в этом самом беспокойном Максиме Ярикове, отчаянном Спирьке Расторгуеве или в помешанном на проблемах государственного устройства Н. Н. Князеве? Уж не это ли самое беспокойство?

Посмотрите, какие разные люди — «характерам» у Шукшина несть числа. Общее у них, пожалуй, вот что: почти все они вошли в пору человеческой зрелости, разменяли пятый десяток или готовятся разменять его, «жизнь, как говорится, прожили, а ума не нажили». Все они снедаемы этим беспокойством: оно не просто толкает их на курьезные поступки—оно заставляет их выламываться из худобедно налаженной жизни. Кем налаженной? Да теми, кто в упор их не видит, этих самых «странных людей», не берет в расчет их души и характеры, а берет в расчет только рабочие руки: каждый должен знать место, а все остальное не имеет значения.

Сегодня можно сказать четко и определенно: герои Шукшина — это люди обеспокоенные, нет, уязвленные социальной несправедливостью, люди, крепко обиженные на жизненный уклад, на вселенский непорядок, который им долго пытались выдать за порядок, за добрый и разумный мир, за процветающее общество. Ах, была бы справедлива теория «винтика» — каких дел можно было бы понаделать: заасфальтировать все дороги, прорыть метро до Владивостока, как мечтается «человеку и гражданину» Н. Н. Князеву. Но не получается так, не выходит, когда имеешь дело с живыми людьми. Человек не может удовлетвориться только делом своих рук, результатом своего труда, ибо он знает: ничто не вечно, все мы смертны. У человека должны быть какие-то непреходящие, вечные ценности — иначе рано или поздно у него опустятся руки. И тогда произойдет отчуждение человека от общества. Это случится тем скорее, чем больше вокруг равнодушия и жестокости. А их хватает! Шукшин знает жизнь насквозь—до черного слова, до березового стяжка, которым можно и по бокам получить за охапку сена.

Герой Шукшина как чуткий резонатор: он резонирует от всякой несправедливости, от бесчеловечности, да просто от грубого оклика. Он яростно отстаивает свое человеческое достоинство, порой даже сам того не сознавая. Он ненавидит тех, кто портит ему «праздник», а праздник — это редкая, но тем более драгоценная минута душевного равновесия, гармонии. Этот праздник по-настоящему дается только доброму человеку, как награда за сделанное добро. Доброта — свет в окошке, главнейшее человеческое качество, так получается по Шукшину. Только добротой силен и прочен человек. Как ни жестока «обида на жизнь», на неправедный ее уклад, истинный человек не теряет своей доброты, а значит, и своего лица.

Вот ведь обошла жизнь своими милостями Алешу Бесконвойного, посмеялась над ним, а он все не разучился «полюблять» ее, все держит в уме стишок, сложенный когда-то маленькой дочкой, — про то, как лопух укроет в дождь новорожденную березку, будет ей тепло и хорошо. И тепло становится у нас на душе, хотя рассказ-то горький. Это самое душевное тепло Шукшин все время поддерживает в своем читателе. Без душевного тепла никогда бы не позволил Шукшин подойти к своим героям. Им нужны сочувствие, понимание, человеческое отношение — иначе «зачем же затеваться»?

Но не только чувство пробуждает в нас Шукшин — пробуждает думу. Выразителем этой думы у него часто становится герой, вроде бы совсем не думающий, такой, как Пашка Холманский (в фильме «Живет такой парень» он стал Пашкой Колокольниковым), этакий легкий в обхождении, болтливый парень. Но вот что удивительно — чем больше к нему приглядываешься, тем отчетливее понимаешь: Пашка достоин уважения, он знает истину. Истина эта проста и вместе с тем непостижима для многих, и, может быть, только через Пашку некоторые прикоснутся к ней впервые: человеку мало собственного благополучия — слишком тесно он связан с другими людьми, со всем родом человеческим. Так рассказчик-бытописатель оказывается философом. «Благополучие не может быть целью человеческой жизни. Какова же тогда цель?». Почти все герои Шукшина ставят перед читателем этот вопрос. Чтобы ответить на него, Шукшин, по собственным его словам, и написал роман о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Но отвечает на него, на этот проклятый вопрос, и Степка Воеводин: он тоже ищет воли, бежит из тюрьмы, а цели не достигает, ибо воля — это означает: жить по правде, не врать, не кривить душой. Степан Разин у Шукшина взял на душу грех— предал мужиков, которые поверили ему и пошли за ним. Он солгал, и дело, которому была посвящена вся его жизнь, погибло. Вот и выходит, для того чтобы стать вольным, мало одной силы и удали.

Мысль эта в романе о Степане Разине выражена броско, зримо, связана с сюжетом. А в рассказе «Степка» она является как-то исподволь — казалось бы, писатель повествует совсем о другом, не собирается поучать. Это общее свойство всех рассказов Шукшина — в них вроде бы и нет «морали», но нравственный вывод является как-то помимо сюжетной коллизии. Как это получается? Стоит ли объяснять? Это и есть искусство.

«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его, когда роман написан и автор умер»,— написал Шукшин в своей рабочей тетради. Да, «роман» Василия Шукшина дописан. Думается, это одно из замечательнейших произведений нашего века. Он еще не принадлежит истории, он насквозь современный. На сегодня он стал как бы индикатором нашей действительности. Конечно, герою Шукшина и сегодня было бы непросто, но, наверное, его странности уже не казались такими странными. Он повеселел бы, он почувствовал себя увереннее. Он знал бы ныне, что делать со своими заветными тетрадями, теми, где он много лет подряд записывал свои «размышления о государстве»...

Лариса ЯГУНКОВА.

ИЗВЕСТИЯ — 1989. — 17 сент.

СЛОВО О ШУКШИНЕ

Год Шукшина! Никто об этом официально не заявлял. И все-таки «год Шукшина» прочно утвердился в нашем календаре.

Началось с того, что в свет одновременно вышло несколько книг Василия Макаровича, сборники воспоминаний о нем. На Московском международном кинофестивале прошла ретроспектива фильмов Шукшина. Центральное телевидение несколько месяцев показывало картины замечательного актера и режиссера. В Алтайском государственном университете состоялись Шукшинские чтения. Тысячи и тысячи людей прошли «шукшинским трактом», чтобы в канун 60-летия Василия Макаровича собраться в его родных Сростках...

...Есть у Шукшина небольшая повесть «Из детских лет Ивана Попова». Биографы долго обходили ее своим вниманием — не знали, что в детские годы Шукшин, у которого арестовали отца, был вынужден носить фамилию матери — Попов. Ни в одном произведении не говорил он с такой прямотой о себе — разве что в последней своей горестной «Кляузе». Биографам слишком общими казались, должно быть, страницы жизни Ивана Попова: ну кто из деревенских ребят не блаженствовал с удочкой, не любил страшные сказки, не работал, чтобы помочь семье и почувствовать себя взрослым! Однако же было в Иване Попове нечто такое, что решительно отличало его от всех. «В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверное, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы...»

Так видел Вася Шукшин, может быть, еще и не умея облечь видимое в стройные слова, но чувствуя, что эти слова есть — и надо найти, связать их, чтобы запечатлеть чудо жизни. Этот хрупкий дар предстояло сберечь, пронести через годы, а для того надо было пройти через город. И чего только не измышляли в свое время об отношении Шукшина к городу. А он в своем «Монологе на лестнице» писал так: «Город — это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город — это где огромные дома, а в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: «Все люди — братья». В город надо входить, как верующие входят в храм,— верить, а не просить милостыню».

По собственным его словам, Шукшин в ту пору всерьез «засобирался писать». Но ведь собираться писать — он тогда еще не знал этого — можно всю жизнь. Главное, чтобы не затянулся этот период. У Шукшина он затягивался: слишком уж трудна была жизнь рабочего, приехавшего по оргнабору, — нынче Калуга, завтра Владимир. Город был многолик, временами он пугал и раздражал, но зато позволял наблюдать множество людей, зачастую вот так же пришедших из деревни, находить в них нечто такое, что надо было крепко запомнить и сберечь.

Для многих своих биографов Шукшин и по сей день — этакий «самородок», «стихийный талант». Пришел, мол, на приемные экзамены во ВГИК, не вполне понимая, куда это он попал и что это за профессия такая — кинорежиссер, потешал строгих экзаменаторов, задававших каверзные вопросы. Мало кто знает, что Шукшин сначала подавал документы на сценарный факультет. «Перенести документы» его уговорили работники экзаменационной комиссии. Не было в его поступлении во ВГИК никакой «стихийности» — были предельная собранность и организованность, которые даются самой жизнью. Почти все экзамены, включая общеобразовательные, он сдал на хорошо и отлично — он не мог себе позволить получить тройку по истории или литературе. Он поступил в институт безо всякой протекции, без заступничества — он сам был себе заступником. За ним стояли Сростки.

Как-то беседовали мы с Шукшиным о полюбившемся ему актере: откуда они берутся, таланты: «От щедрот народных,— сказал он.— Живут на земле русские люди и вот избирают одного. Он за всех будет говорить — он памятлив народной памятью, мудр народной мудростью. Что бы он ни делал — он естествен, свободен. Но это не «стихийность» — это большая собранность, организованность, которой он обязан не институту, а жизни».

С самых юных лет Шукшин сознавал, что у него своя стезя. И следовал этой стезе с редким мужеством и упорством. Для него не было вопроса—что снимать: с первых дней учебы он знал, что будет делать «авторское кино».

Как труден был этот путь! «Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран...» — писал он. Я помню эту напряженность и собранность, благодаря которым наши беседы становились необыкновенно емкими. Как Шукшин готовился к этим беседам, будто от каждой всерьез зависела его работа! Помню маленькие листочки, на которых он тщательно, очень четким, разборчивым почерком, по нескольку раз переписывая одну и ту же фразу, выводил некоторые «формулы своего неуспеха»:

...«Фильм «Странные люди» не принес мне удовлетворения. Я бы всерьез, не сгоряча назвал его неудачей, если бы это не сделали другие. Разговор со зрителем не состоялся. Фильм плохо смотрели, даже уходили. Так работать нельзя. Это расточительство».

И дальше, все тем же кропотливым почерком, все обстоятельнее и обстоятельнее — так что же такое кино? Слово за слово, он приходит к выводу, что «литература... демократичнее, что ли?.. В кинематографе все сложнее. В поисках кинематографической выразительности, в потоке зрительных ассоциаций можно потерять самого героя, а с ним и понимание, и сочувствие зрителя. А что может быть страшнее зрительского равнодушия, непонимания, а то и недоумения перед произведением, которое ты, автор, считаешь для себя программным?»

И, наконец, с нажимом, большими, большими буквами — как самое важное для себя: «Да будь ты трижды современный и даже забегай с «вопросами» вперед, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале. Добрые, искренние, человечные слова должны тоже греметь. Гремят же на площадях в мире слова недобрые, фальшивые. Пусть и добро вооружается. Келейные разговоры о красоте, истине только обессиливают человечество перед лицом громкогласного, организованного зла. Если же кто сказал слова добрые и правдивые и его не услышали—значит, он не сказал их».

Не сразу Шукшин обрел своего героя, свою тему — и помогли ему в этом, конечно, земляки. Он их не забыл, не предал. Они всегда были с ним, если он и за перо-то взялся для того, чтобы говорить от их имени. Долгие-долгие годы, с тех пор как не стало Чехова и Бунина, с тех пор как замолчал Зощенко, у них не было своего голоса. Рано или поздно они должны были снова обрести его — и вот обрели.

Вспоминаются литературные дискуссии прежних лет по рассказам Шукшина: кто они, его герои. Не укладываются ни в какие привычные мерки! Их называли «чудиками» — по прозвищу одного из таких вот, на первый взгляд, смешных и нелепых, а если отбросить привычные представления, «очень человеческих» людей. Раздавались опасливые голоса: можно ли приписывать «чудикам» типические черты, выводить из них русский национальный характер? Сошлись на том, что лучшее определение дал своим героям сам Шукшин: «странные люди». Боюсь, что многие принимали это определение всерьез — именно что странные. Многие из пишущих, но отнюдь не из читающих! Читатель-то, он сразу понял: никакие они не странные— они свои, родные. Что в них дорого, в этом самом беспокойном Максиме Ярикове, отчаянном Спирьке Расторгуеве или в помешанном на проблемах государственного устройства Н. Н. Князеве? Уж не это ли самое беспокойство?

Посмотрите, какие разные люди — «характерам» у Шукшина несть числа. Общее у них, пожалуй, вот что: почти все они вошли в пору человеческой зрелости, разменяли пятый десяток или готовятся разменять его, «жизнь, как говорится, прожили, а ума не нажили». Все они снедаемы этим беспокойством: оно не просто толкает их на курьезные поступки—оно заставляет их выламываться из худобедно налаженной жизни. Кем налаженной? Да теми, кто в упор их не видит, этих самых «странных людей», не берет в расчет их души и характеры, а берет в расчет только рабочие руки: каждый должен знать место, а все остальное не имеет значения.

Сегодня можно сказать четко и определенно: герои Шукшина — это люди обеспокоенные, нет, уязвленные социальной несправедливостью, люди, крепко обиженные на жизненный уклад, на вселенский непорядок, который им долго пытались выдать за порядок, за добрый и разумный мир, за процветающее общество. Ах, была бы справедлива теория «винтика» — каких дел можно было бы понаделать: заасфальтировать все дороги, прорыть метро до Владивостока, как мечтается «человеку и гражданину» Н. Н. Князеву. Но не получается так, не выходит, когда имеешь дело с живыми людьми. Человек не может удовлетвориться только делом своих рук, результатом своего труда, ибо он знает: ничто не вечно, все мы смертны. У человека должны быть какие-то непреходящие, вечные ценности — иначе рано или поздно у него опустятся руки. И тогда произойдет отчуждение человека от общества. Это случится тем скорее, чем больше вокруг равнодушия и жестокости. А их хватает! Шукшин знает жизнь насквозь—до черного слова, до березового стяжка, которым можно и по бокам получить за охапку сена.

Герой Шукшина как чуткий резонатор: он резонирует от всякой несправедливости, от бесчеловечности, да просто от грубого оклика. Он яростно отстаивает свое человеческое достоинство, порой даже сам того не сознавая. Он ненавидит тех, кто портит ему «праздник», а праздник — это редкая, но тем более драгоценная минута душевного равновесия, гармонии. Этот праздник по-настоящему дается только доброму человеку, как награда за сделанное добро. Доброта — свет в окошке, главнейшее человеческое качество, так получается по Шукшину. Только добротой силен и прочен человек. Как ни жестока «обида на жизнь», на неправедный ее уклад, истинный человек не теряет своей доброты, а значит, и своего лица.

Вот ведь обошла жизнь своими милостями Алешу Бесконвойного, посмеялась над ним, а он все не разучился «полюблять» ее, все держит в уме стишок, сложенный когда-то маленькой дочкой, — про то, как лопух укроет в дождь новорожденную березку, будет ей тепло и хорошо. И тепло становится у нас на душе, хотя рассказ-то горький. Это самое душевное тепло Шукшин все время поддерживает в своем читателе. Без душевного тепла никогда бы не позволил Шукшин подойти к своим героям. Им нужны сочувствие, понимание, человеческое отношение — иначе «зачем же затеваться»?

Но не только чувство пробуждает в нас Шукшин — пробуждает думу. Выразителем этой думы у него часто становится герой, вроде бы совсем не думающий, такой, как Пашка Холманский (в фильме «Живет такой парень» он стал Пашкой Колокольниковым), этакий легкий в обхождении, болтливый парень. Но вот что удивительно — чем больше к нему приглядываешься, тем отчетливее понимаешь: Пашка достоин уважения, он знает истину. Истина эта проста и вместе с тем непостижима для многих, и, может быть, только через Пашку некоторые прикоснутся к ней впервые: человеку мало собственного благополучия — слишком тесно он связан с другими людьми, со всем родом человеческим. Так рассказчик-бытописатель оказывается философом. «Благополучие не может быть целью человеческой жизни. Какова же тогда цель?». Почти все герои Шукшина ставят перед читателем этот вопрос. Чтобы ответить на него, Шукшин, по собственным его словам, и написал роман о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Но отвечает на него, на этот проклятый вопрос, и Степка Воеводин: он тоже ищет воли, бежит из тюрьмы, а цели не достигает, ибо воля — это означает: жить по правде, не врать, не кривить душой. Степан Разин у Шукшина взял на душу грех— предал мужиков, которые поверили ему и пошли за ним. Он солгал, и дело, которому была посвящена вся его жизнь, погибло. Вот и выходит, для того чтобы стать вольным, мало одной силы и удали.

Мысль эта в романе о Степане Разине выражена броско, зримо, связана с сюжетом. А в рассказе «Степка» она является как-то исподволь — казалось бы, писатель повествует совсем о другом, не собирается поучать. Это общее свойство всех рассказов Шукшина — в них вроде бы и нет «морали», но нравственный вывод является как-то помимо сюжетной коллизии. Как это получается? Стоит ли объяснять? Это и есть искусство.

«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его, когда роман написан и автор умер»,— написал Шукшин в своей рабочей тетради. Да, «роман» Василия Шукшина дописан. Думается, это одно из замечательнейших произведений нашего века. Он еще не принадлежит истории, он насквозь современный. На сегодня он стал как бы индикатором нашей действительности. Конечно, герою Шукшина и сегодня было бы непросто, но, наверное, его странности уже не казались такими странными. Он повеселел бы, он почувствовал себя увереннее. Он знал бы ныне, что делать со своими заветными тетрадями, теми, где он много лет подряд записывал свои «размышления о государстве»...

Лариса ЯГУНКОВА.